

С. В. Яров

Письма Г. А. Рудина как источник для изучения блокадного Ленинграда

Письма блокадников очень редко привлекали внимание исследователей. Самих писем сохранилось немного: отправленные в чужие края, они развеялись в бесконечных переездах эвакуированных, в неустроенном быте людей, обремененных более важными заботами. Стремление сохранить письма можно рассматривать как свидетельство устойчивости моральных правил, как отражение той любви к близким, которая не была растоптана и во время войны.

Яркий тому пример — собрание писем доцента кафедры стекла Ленинградского химико-технологического института Г. А. Рудина жене Софье Исаевне и дочери Наталье. Переписка началась в сентябре 1941 года, после эвакуации родных Г. А. Рудина, и закончилась в январе 1942 года, когда Георгий Анисимович умер от голода в блокадном Ленинграде. Письма Г. А. Рудина его вдова хранила несколько десятилетий, и в 2012 году они увидели свет в книге, опубликованной дочерью Н. Г. Рудиной¹.

Прежде чем оценить эти документы, скажем несколько слов о значении блокадных писем как исторического источника. Письма родным и друзьям имеют, как правило, сильно выраженный дидактический характер. Это поучение о том, как вести себя в трудных обстоятельствах, как заботиться о себе и других во время общей для всех беды. Неизбежно поэтому приводятся здесь примеры своей стойкости, умения переносить лишения. Письма, таким образом, становятся своеобразным сводом представлений о нравственности, которые были присущи блокадникам. Разумеется, какие-то примеры в них нарочито выделены для придания особой вескости своим наставлениям, но канва моральных уроков оставалась прежней. Конечно, назидания плохо совместимы с жалобами на блокадный быт, поэтому рассказ в письмах может быть менее драматизирован, чем те реалии, в которых жил человек. Авторы писем часто не хотели волновать близких и друзей тягостными подробностями, это ведь налагало и определенные обязательства на тех, кто получал письма, даже если в них и не содержались прямые просьбы о помощи. Нельзя не обратить внимание на самоцензуру корреспондентов, знавших, что их письма проверяются, и опасавшихся, что их обвинят в паникерстве.

¹ Семьдесят лет назад. Письма двух ленинградцев / подг. к публикации, вступит. статья, коммент. Н. Г. Рудиной. СПб., 2012.

Блокада часто ломала и самых сильных, многие не выдерживали и открыто обращались за поддержкой к родным. То, как это происходило, какими словами просили помочь, в какую форму облекались просьбы, нередко позволяет воссоздать основные контуры этики жителей осажденного города. Письма являются и ценным источником для изучения быта ленинградцев в военное время. Обо всем в них сказать не могли, но и по тому, на что предлагалось обратить внимание, по житейским поучениям, по советам, как легче пережить лихолетье, можно сделать вывод о том, как жили ленинградцы.

Весьма частыми с октября 1941 года в письмах Г. А. Рудина становятся пожелания лучше питаться, беречься от холода, запастись продукты и расчетливее их использовать. Но вскоре он перестает сдерживаться, и рассказ о своих несчастьях будет быстро вытеснять из писем риторические формулы и полунамеки. Главное, что его волнует — голод. Давая практические советы семье, он не без гордости сообщает, что «теперь эти вопросы изучил досконально»².

«Хорошо питаюсь», — сообщал он в письме родным 14 сентября 1941 года³, но далее тон его посланий становился всё более пессимистичным. 8 октября он пишет, что стали меньше выдавать крупы и мяса, правда, с примечательной концовкой: «Всё будет налажено, как только наладится железнодорожное сообщение»⁴. Но через несколько дней (а писал он родным ежедневно) приметы грядущей голодовки выступают всё более явственно. Нигде нет лука, «получаю мяса, но, конечно, не так много», — читаем в его письме от 20 октября 1941 года⁵. На следующий день он сообщает, что питается витамином А, поскольку «С давно исчез». 25 октября 1941 года ему удалось купить «в невероятной очереди» 20 пакетиков порошка, которым «заправляют водку, чтобы сделать ее ликером или настойкой»⁶. Об алкоголе, собственно, здесь и речи нет, этот порошок нужен для того, чтобы заварить стакан чая, «которого у меня нет, а кофе тоже кончилось»⁷. И здесь же сетования, высказываемые в то время многими блокадниками, о том, что в сентябре он был беспечен. Но главное, может быть, и не в этом: о пищевых суррогатах говорят открыто, не стесняясь их диковинности, чтобы их купить, стоят в очереди по несколько часов. 31 октября он приобрел в Елисеевском магазине «кило настоящего, *крайне нужного* [курсив наш. — С. Я.] мне кофе», а 15 ноября он пишет, что часто поджаривает хлеб «на постном масле»⁸. Делает он это для создания «вкусовых эффектов и калорийности»,

² Там же. С. 38.

³ Там же. С. 24.

⁴ Там же. С. 32.

⁵ Там же. С. 50–51.

⁶ Там же. С. 56.

⁷ Там же.

⁸ Там же. С. 84.

но понятно и без лишних объяснений, что, производя подобные «хлебные» манипуляции, человек подходит к черте голода.

Запасов продовольствия ни у кого нет, все кляли себя за неосмотрительность, потому что надеялись, что вскоре война закончится, да и скупить содержимое прилавков, даже если бы и хотели, могли не все — достаток большинства ленинградцев был не очень высоким, средств не хватало даже на повседневные нужды. Единственное спасение горожан в то время — столовые. Они не сразу стали «мерзостью запустения», но и по тексту писем Г. А. Рудина видно, как начала давать сбои система общепитовских учреждений. Г. А. Рудину повезло — он смог обедать и в институтской столовой, и в ресторане Дома ученых, мог сравнивать их меню и то оскудение качества и количества блюд, которое с разной степенью, но с одинаковой последовательностью явилось приметой начавшегося голода в Ленинграде. Разумеется, ресторан «во много раз лучше» столовой, питание в нем, правда, дороже почти в два раза, но оно того стоит. В начале октября он начинает жаловаться на то, что «одолевают» очереди в обоих «питательных пунктах», но кормится он по-прежнему неплохо⁹. В институтской столовой в конце октября дают суп теперь не из мяса, а, как об этом говорят сами кухонные работники, «на мясном отваре»¹⁰. Не таков, конечно, ассортимент порций в Доме ученых. В письме 3 ноября 1941 года впервые в эпистолярике Г. А. Рудина появляется подробный список полученных там блюд, описания эти вскоре станут неизбежной приметой сотен других дневников и записок. И стеснялись люди своих «животных инстинктов», и упрекали себя в нестойкости — а удержаться не могли. Не был исключением и Г. А. Рудин: «На первое получил великолепный суп с макаронами, на второе макароны со сливочным маслом, затем чудесные два больших сырника, а в придачу бутылку соевого молока, очень питательного с кофе»¹¹. Прейскурант невелик, но как эмоционально перечисляется каждая крупица еды: голод «стоит при дверях».

Терзает его не только голод, ежедневной мукой стали бомбы. О них он говорит столь эзоповым языком, что иногда даже трудно понять, о чем идет речь. «К счастью, погода была плохая, поэтому две ночи спали спокойно»¹², — замечает он в одном из писем, обходясь намеками там, где цензор мог вычеркнуть «опасные» строки и тем задержать отправку писем. Мотив цензора ясен: зачем создавать панику в тылу сообщениями о бомбежках Ленинграда, лучше ограничиться безликим «бои идут на красногвардейском направлении». «Не верь никаким рассказам об ужасах бомбардировок... оказались выбитыми только стекла», — успокаивает Г. А. Рудин в конце

⁹ Там же. С. 30.

¹⁰ Там же. С. 62.

¹¹ Там же. С. 68.

¹² Там же. С. 35.

сентября 1941 года, когда город подвергался самым разрушительным, варварским бомбардировкам. Но вот его письмо 14 октября 1941 года: «К сожалению, пасмурная работа не всегда вносит успокоение в наш быт, хотя есть причины, по которым она иногда предпочитается ясным дням и ночам особенно»¹³. Есть еще письмо о том, что в комнатах с большими окнами теперь жить не рекомендуется¹⁴. Может быть, об этом и вовсе не стоило писать, чем писать таким невнятным языком, тем более что его обращения к семье наполнены призывами к стойкости, но нет, в тех или иных вариантах, намеками или полунамеками он вновь и вновь пишет об этом. Так является нам подспудный, закрываемый (часто безуспешно) от других и даже от себя мир тревог и горя, и кто знает, может быть, риторика и есть то, что позволяет на какое-то время уйти из этого мира.

В письмах сентября – октября 1941 года мы обнаруживаем и строки о театре. «Аншлаг небывалый», «билеты нарасхват», «остались без мест», – пишет Г. А. Рудин родным¹⁵, и легче всего здесь было бы объяснить всё это трафаретными фразами о неиссякаемой тяге к искусству, проявляемой даже в самых тяжелых условиях войны. Но на это можно посмотреть и по-другому. Городское общество сжато запретами и ограничениями, поводов для оптимизма и радости мало, сводки с фронтов неутешительны, как смягчить это постоянное напряжение, где обрести прежний покой, без голода, холода, бомб и смертей? Необыкновенная тяга к театру – это, помимо прочего, и свидетельство о той драме, которую переживали тысячи людей, это порой бессознательная попытка сопротивляться давившему ленинградцев железному обручу блокады. И попытка отметить, как в прошлом, ноябрьскую годовщину – тоже нечто большее, чем демонстрация своей лояльности. «Несмотря на 1000 градусов мороза... на улицах снуют тысячи людей, суесящихся по-предпраздничному», – сообщал он 6 ноября 1941 года¹⁶.

Но были и иные причины. То, что могло внешне выглядеть как проявление оптимизма, как символ того, что в любых условиях жители города сохраняли надежду, имеет более сложные и извилистые истоки. В предпраздничные и праздничные дни люди толпились у магазинов по прозаичным мотивам – надеялись, что в это время подвезут больше продуктов, особенно «бескарточных». В письмах Г. А. Рудина очень много сведений об интенсивной работе в октябре 1941 года скупочных и комиссионных магазинов, «где вещи покупают и очень охотно»¹⁷. Может быть, видя, как обесцениваются деньги, горожане пытались приобрести дорогие вещи? Но нет. «Сейчас на ходу любое носильное тряпье, но не картины, ковры и т.п.», – отмечал

¹³ Там же. С. 41.

¹⁴ Там же. С. 35.

¹⁵ Там же. С. 31, 57.

¹⁶ Там же. С. 72.

¹⁷ Там же. С. 49. См. также: С. 23, 28, 41.

Г. А. Рудин в письме 11 октября 1941 года¹⁸. Понес он в магазин дешевые краги и «совершенно истрепанные желтые туфли» — и их тоже взяли¹⁹. И не случайно: именно одежда быстрее всего исчезла с прилавков государственных магазинов. «Здесь еще месяц назад было всего много в Пассаже, но народ прямо всё рвет из рук, и вчера я видел только одни мужские шляпы — правда, очень хорошие», — читаем мы в его письме, отправленном родным 25 октября 1941 года²⁰. В ноябре стало трудно приобретать одежду и по талонам, распределяемым наравне с продовольственными карточками: «...чуть не получил за 81 руб. по талонам из промтоварной карточки синие, крайне мне нужные, суконные брюки, но простоявши в очереди, ушел не солоно хлебавши»²¹.

По письмам Г. А. Рудина отчетливо видно, как возникают разломы, обрушившие в «смертное время» каркасы обычной, повседневной жизни горожан. Прекращена телефонная связь. «Впрочем, так как у всех молчит, он и не так необходим», — утешает он родных²². Почта работает нерегулярно: то неделю он не получает писем (он называет это «почтовым затишьем»), то за день приходит их несколько²³. Скоро перестали принимать в городе почтовые посылки с продовольствием, их разрешалось посылать из тыла в осажденный город только на адреса военнослужащих. Начались поиски «нужных» адресатов — и стыдно, и ничего не поделать: от голода никуда не уйти.

В столовой Дома ученых, с которой связывали столько надежд, обеды становятся всё беднее и беднее. В начале ноября 1941 года тарелку сырников, полученную там, он «вылизал дотла»²⁴. Может быть, и не нужно было сообщать семье об этом, но «довлеет дневи злоба его», и не замечается, сколь странно это воспринимается в обрамлении патриотических наставлений. Человек постепенно, иногда не замечая этого, выталкивается из цивилизованной жизни. Усвоенные им правила, упрочавшие ранее эту цивилизованность, последовательно и в большей мере превращаются в инструмент самозащиты. Жалобы всё чаще слышатся в его письмах, текст их словно дробится на две части, мало связанные между собой: рассказ о своих несчастьях нередко отделен от призывов к стойкости.

Любые блокадные письма — это летопись изменения человеческой этики. Наставления для родных о том, как надо достойно жить, вскоре перестают быть сердцевиной писем Г. А. Рудина. Нельзя сказать, что их морализаторский накал уменьшился, но захлестнувшие ленинградцев тяготы

¹⁸ Семьдесят лет назад. Письма двух ленинградцев. С. 38.

¹⁹ Там же.

²⁰ Там же. С. 56.

²¹ Там же. С. 73.

²² Там же. С. 57.

²³ Там же. С. 44.

²⁴ Там же. С. 70.

осадного быта переставили многие акценты. На первом месте продукты и дрова. Сдерживаться и обходиться рядом малозначащих слов он теперь не может. Надо кому-то выговориться, ничего не скрывая. «По карточке получил сахара, 200 гр. шоколада, 250 г. конфет (леденцов) на декаду и, главное, 150 гр. великоленного шпика вместо 300 г. мяса и сливочное масло», — никак не закончить этот перечень яств, но здесь он еще спохватывается и пробует оправдаться: «По тону моего письма ты, вероятно, догадываешься, что бытие определяет сознание. Если человек сыт, то всё ему не так страшно», — пишет он 3 ноября 1941 года²⁵. Но вот его письмо 5 ноября, и в нем замечаем те же ноты: «Мне даже неловко, что я так много места уделяю “питательным вопросам”, но это понятно, т.к. надо, конечно, об этом думать в наших условиях»²⁶.

И чем дальше, тем острее становится потребность в деталях рассказать о способах добывания продуктов, о «комбинировании» карточек для того, чтобы получить хороший обед, с ненужными, подчас мелкими подробностями: по какому талону выдается крупа, какой талон отрывают из карточки в зачет супа и т.д., и т.п. Это не привычка, прежде такого за ним не замечалось, и он понимает, что не нужны его семье эти сведения, но не может остановиться. В письме 11 ноября 1941 года он пытается объяснить так, чтобы соседство жалоб и призывов к достойной жизни не выглядело неестественным, и видно, как трудно ему это дается, как текст письма становится прерывистым, какой необычной становится его логика: «Ты не удивляйся, что я занимаю твое внимание всеми этими деталями. Бытие определяет сознание, и весь день приходится думать, чтобы не прозевать всех возможностей нормального питания, на что до сих пор, объективно рассуждая, у меня не было оснований жаловаться, а так как я оптимист, не сомневаюсь, что все эти мелкие затруднения скоро изживутся. Верю, что как бы ни были трудны условия, каждый день приближает к разгрому врага»²⁷. Формула «бытие определяет сознание» взята у Маркса — может, он хочет оправдать свой настрой и ссылками на авторитеты.

Но не остановиться — голод терзает его так, что он вынужден прямо просить в письме 24 декабря семью о помощи, хотя и знает, как бедно она живет в эвакуации: «... выслать мне жиров, луку, мучного... Хорошо было бы и круп и шоколада... Мне нужно поднять питание, почему самое важное жиры, копчености»²⁸. И назидания находим здесь же — не столь четкие, менее уверенные, не всегда безапелляционные. Да и как требовать от родных лучше заботиться о своем пропитании, если он понимает, что должен просить у них

²⁵ Там же. С. 69.

²⁶ Там же. С. 70.

²⁷ Там же. С. 77.

²⁸ Там же. С. 105–106.

едва ли не последнее. Вот в этой двойственности — желании обнадежить семью и внушить ей уверенность в будущем и стыдливой просьбы прислать хоть что-то из продуктов — и проступает ярче всего трагизм этих замечательных писем. Блокада ломала многих, тем важнее понять и увидеть сопротивление человека, вынужденного отступить, но отступить с достоинством. Он стремится, насколько возможно, отделить себя от теряющих человеческий облик посетителей столовой Дома ученых: «Жадное чавканье, масляные глазки от предвкушения процесса пищеварения, мелкая плюшкинская скупость при расчетах с официантом, жадное собирание крошек в особую коробочку, сомнительной чистоты руки...»²⁹ Но и у него возникают мысли о том, кто достоин жить, а кто понапрасну коптит небо; жестокость выбора или, вернее сказать, отбора «нужных» и «ненужных» людей оказалась свойственной ему так же, как и другим блокадникам, вовлеченным в воронку великой пародной беды.

Всё это так. Но изучая блокаду, вряд ли кто осмелится взять на себя роль судьбы. Важнее не отступление человека — важнее то упорство, с которым он противостоит распаду. И в своих последних, предсмертных письмах Г. А. Рудин предстает перед нами не оглушенным, растерявшим все принципы и моральные правила человеком. Его заботит и судьба семьи, он если и просит оказать ему помощь, то очень деликатно, он не требует, не попрекает, не обвиняет — он плоть от плоти тех безвестных, не получивших ни креста, ни могилы ленинградцев, которые навсегда придали величие подвигу осажденного города.

²⁹ Семьдесят лет назад. Письма двух ленинградцев. С. 75.